

**Наши дни
Город Москва, столица России
Агент Сапфир**

Теперь не прежние времена. Совсем не то что с Марией — сколько тогда было предосторожностей при каждой встрече! Сейчас мы с Лаурой можем контактировать совершенно свободно — почему нет? На людях? — пожалуйста! Ходим с ней куда угодно. В кафе, рестораны. Были в Кремле, в Коломенском, на Воробьевых горах. Посещали Большой театр и «Современник». Хаживаем в кино — смотрим новые фильмы на английском.

Это потому, что удачно проработана легенда прикрытия. Лаура — американка, учительница английского, носитель языка, поэтому ее с распростертыми объятиями встретили на частных курсах «Ап ту Инглиш». Ей двадцать шесть — примерно как было мне в те баснословные года, когда мы познакомились с Марией.

Лаура ведет шесть групп — детей, подростков, взрослых. Плюс дает частные уроки: официально, с оплатой через бухгалтерию курсов — в том числе мне. Вот совершенно легальное обоснование для того, чтобы встречаться дважды в неделю. Остальные свидания обосновываются тем, что мы якобы подружились. Да мы и вправду подружились.

Я называю Лауру Ларой, в память о «Докторе Живаго». Она не возражает. Романа она (как и его хулите-

ли прежних дней) не читала, но кино любит. Вдобавок ей нравится, когда я декламирую ей по-русски стихи Пастернака.

Продумано, зачем мне на склоне лет вдруг потребовался английский: янки прислали приглашение разоблачить и прокомментировать документы, относящиеся к начальному периоду советской пилотируемой космонавтики. Документы хранятся в аэрокосмическом музее и Смитсоновском институте, в Вашингтоне, округ Колумбия, — американцы много их нахапали у нас в период безвременья, в начале девяностых. Поездка моя состоится через полгода, а пока я пользуюсь случаем подтянуть язык.

Иногда я рассказываю Лауре-Ларе байки из своего прошлого, из жизни космического конструктора, — то, что за давностью лет утратило статус строгой секретности. Например, как разбился советский пилотируемый корабль «Союз-один», в котором находился первый официальный мученик отечественной космонавтики, прекрасный парень Владимир Комаров. Тогда не открылись тормозные парашюты, и спускаемый аппарат с такой силой ударился о казахскую степь, что образовал воронку в несколько метров, а потом вдобавок загорелся. Все, что осталось от пилота, — небольшой обгорелый, спекшийся брусочек. Потом фильм с кадрами этой жуткой обгорелой плоти показывали всем кандидатам на новый космический полет. Спрашивали: «А теперь вы по-прежнему хотите лететь в космос?» Но никто не отказывался.

Лара, когда я предаюсь подобным воспоминаниям, содрогается: «Какие жертвы! Ради чего?! За что они погибли? Зачем сгорел ваш Комаров? И задохнулись трое других русских, в семьдесят первом году, после экспедиции на станцию «Салют»? И два наших «шаттла» взорвались?! Двенадцать сгоревших заживо? Зачем?! К чему все эти жертвы?!»

Я отвечаю ей: «Странно слушать подобные речи от человека, который постоянно пользуется спутниковой навигацией. И регулярно звонит к себе на родину за океан — по космическим каналам связи. И смотрит по спутниковому телевидению любимый Ю-Эс-Оупен в прямом эфире».

— Я отдала бы все эти блага за единственную слезинку ребенка (про которого писал ваш Достоевский) — того, который оплакивал отца, ушедшего в полет и не вернувшегося.

Я вздыхаю.

— То был выбор самого отца. Ведь дело не только в спутниковой тарелке и прочих гаджетах. Космонавты и астронавты гибли не ради нашего комфорта. Они стремились, как сыны человечества, выше и дальше — за горизонт.

— По-моему, те, кто запускал первые спутники и летал на них, о высоких материях не думали, — возражает она. — Вы, советские, мечтали утереть нос нам, американцам. А мы — вам.

— Конечно, соревнование между двумя системами сыграло огромную роль в покорении космоса, — соглашаюсь я.

— А еще — девяносто процентов всех полетов, и наших, и особенно ваших, имело военное значение.

— Может, и девяносто, — поддерживаю я. — А может, и больше. Или меньше. Но благодаря тем полетам и тому, что с орбиты оказались видны пусковые комплексы ракет, не случилось третьей мировой войны. А мы ведь долго балансировали на самом краю. Бабах, по паре бомб и ракет с каждой стороны — и сейчас на месте моей Москвы и твоего Чикаго была бы радиоактивная пустыня.

Так мы препираемся с ней порой битый час. Я изо всех сил защищаю дело всей своей жизни — космос. Дискутируем мы на английском — она, великодержав-

ная шовинистка, русского принципиально не учит, знает только пару слов: «да», «спасибо», «дайте, пойджайлуйста» и «маршруютка».

Но надо отдать должное Лауриным кураторам из Лэнгли: общаться мне с ней интересно, даже подобие дружбы образовалось, и в те дни, когда мы не видимся, я начинаю по ней скучать.

Город М. (областной центр), Россия
Виктория Спесивцева

Недавно я поняла — ясно, как «Отче наш», — что не смогу жить и двигаться дальше до тех пор, пока не разберусь с проблемами моей собственной семьи. Пока, образно говоря, не пересдам карты. Не переменяю, не перелицую собственную карму.

Ведь если семья вдруг несчастлива — это тянется долго. Порой — всегда. Обычно в неполных семьях вечно рождаются девушки. И каждая последующая словно повторяет судьбу своей матери — как мать, в свою очередь, воспроизводила карму бабушки. Сколько таких историй вокруг! Впечатление, что зависла над фамилией черная туча и все идет наперекосяк: девушки никак не могут выскочить замуж, а если вдруг выходят, ничего не получается с детьми. Или, наоборот, происходит залет — но безо всяких надежд на то, чтобы расписаться. Не успевает она увидеть две полосочки — а милого р-раз, и след простыл. Или, напротив, она обвенчана, и ей, после титанических усилий, удается забеременеть — и тут благоверный открывает свое истинное лицо: оказывается подлецом, или гулякой, или гулящим подлецом. Он съезжает с квартиры, и исчезает с горизонта, и не показывается, не звонит, не пишет, и даже не платит алиментов.

При любом варианте исход один. Молодая женщина брошена, ее дитя (обычно, как нарочно, девочка) болеет, ей ставят клеймо «несадовская» — и что прикажете делать, если необходимо ребенка лечить и поднимать, а ты одна и помощи ждать не от кого? Нанимаются няньки, и они оказываются алчными, глупыми, а самое главное — не любящими детей, и однажды это обстоятельство вскрывается (например, мамаша случайно видит, как воспитательница остервенело лупит дитятку). Разражается страшный скандал, няньку выгоняют, после долгих и отчаянных поисков находят другую, которая оказывается не лучше, чем предыдущая, а только хуже... Наконец ребенка (девочку) дотягивают до школы, однако уроки ей не даются, она связывается с дурной компанией — портвейн, а то и клей со спайсом? — и классная руководительница вместе с участковым становятся в несчастной семье постоянными гостями... И такая дребедень (как писал Корней Чуковский) длится не то что целый день, а годы и поколения напролет.

Девочка вырастает, становится мамой, и у нее, в свою очередь, жизнь идет наперекосяк. Она тоже превращается в брошенку, растит в неполной семье дочурку — и та в точности копирует судьбу матушки: разбитая любовь, нежданная беременность, роды и дальнейшее воспитание в одиночку. А потом и третье поколение, глядишь, на подходе — и в нем тоже, словно плеер поставлен на бесконечный «repeat», возникают: мать-одиночка, отчаянный дефицит денег и любви, постоянная нехватка сильной руки и крепкого плеча.

Вот и наша семейка. Ведь я Спесивцева не по отцу — по матери. Мама моя никогда не выходила замуж. Мужчины в ее жизни, разумеется, имелись. В том числе мой отец. А вот мужья — нет. Равным образом и бабушка моя замужем никогда не состояла. А если

прибавить сюда судьбу прабабки Елизаветы, которая потеряла супруга в годы репрессий, и ее сестру, пратетку Евфросинью, умершую старой девой, — наследственность моя окажется очень настораживающей.

Вот потому-то я и решила: карму нашего семейства следует коренным образом изменить. Я просто кожей почувствовала: пора! Тем более что после шести месяцев совместного проживания мой бойфренд Ярик сделал мне официальное предложение. И я ответила, что принимаю его руку и сердце — но только ровно через год, в течение которого я надеялась выправить собственную судьбу и жизнь моих наследников — пусть многочисленным будет их племя, во веки веков!

Я считаю, что женские невзгоды, растягивающиеся на десятилетия и передающиеся из поколения в поколение (бабка — мать — дочь — внучка), начинаются с одного случая. В определенный момент господь (видать, глобально прогневавшись на семейку) обламывает ее, и потом она не поднимается, дрейфуя меж двух состояний: «плохо» и «очень плохо».

Размышляя над линией судьбы нашего семейства, над ее траекторией, я нашла, кажется, точку перелома (как говорят знатоки высшей математики). А если выразаться по-простому — облома. В нашей фамилии облом-перелом случился в конце пятидесятых — с моей бабушкой Жанной Спесивцевой. Вот только не знаю пока, какой конкретно момент ее короткой биографии следует считать поворотом на пути нашей семьи к кармическим невздам: то, что она родила, безмужняя, в возрасте семнадцати лет? Или спихнула ребенка (мою будущую мать) на прабабку Елизавету и бросилась в Москву поступать в вуз? Или то, что в столице слишком активно искала мужа, кочуя из постели одного красного молодца к другому? Или когда ее поиски остановили — в октябре пятьдесят девятого ударом ножа в самое сердце?

А дальше в жизни семьи происходило следующее: мать моя, Валентина Дмитриевна Спесивцева, тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года рождения, продолжала расти сиротинушкой. Воспитывалась попечением собственной бабушки (моей прабабки) Елизаветы и ее родной, бездетной и безмужней сестры-погодка Евфросиньи. Взращивали бабки внучку исключительно правильно, в строгих традициях — пятерки в дневнике, участие в учебных олимпиадах и посещение музыкальной школы. Парням и дурным компаниям воли маман не давала. На танцульки не бегала. В турпоходы или на школьные экскурсии по родной стране ее две строгие бабки-воспитательницы не пускали.

В семьдесят первом мать моя Валентина поступила на истфак нашего областного педвуза. Была даже выбрана комсоргом курса — но потом вдруг, отучившись два года, взбрыкнула: я, мол, не хочу быть скромной учителькой, ждет меня и манит иная стезя — журналистки, писательницы, путешественницы, международного обозревателя или телевизионного ведущего! Откуда взялась тогда эта фантазия, мамахен не рассказывала. Чего она тогда начиталась? Чего насмотрелась? Был ли это фильм «Журналист»? Или книга «Остановиться, оглянуться»? Или заграничный бестселлер «Вторая древнейшая профессия»? А может, на нее подействовала телепередача «Международная панорама»: «Солнце сияет над крышами Парижа, но это не радует простых французов: инфляция, безработица, безудержный рост цен... » Короче, в один прекрасный день моя юная мать Валентина Спесивцева вдруг забрала из тихого областного «педика» свои документы и рванула в Москву, поступать на журфак. И — благополучно провалилась. Она ведь даже не ведала, что требовалось иметь публикации, писать творческое сочинение... Но, видать, отрава вольной жизни глубоко проникла тогда в ее кровь — а может, подейст-

вовали сладкие миазмы вечно молодой и суетной Москвы. Сказался и мамашкин деятельный темперамент, и общительность, и, чего греха таить, еще не осознанная ею самой, но крепко бьющая в парней сексуальность.

Так или иначе, родительница моя приняла решение домой не возвращаться. Она осталась в Белокаменной и крепко скорешилась с журналистской средой. Ведь столичную околוגазетную плесень хлебом не корми, дай повообразать, пофорсить — оказать содействие рвущейся в профессию провинциалке, да прехорошенькой.

Шли застойные семидесятые. От времен мамашкиного покорения Москвы остались десятки разноформатных черно-белых снимков, сделанных профессионалами разного уровня мастерства (одна фотка — чуть ли не самим Плотниковым): продуманный фон, поставленный свет, а остальное доигрывала мамина прекрасная внешность: глаза, широко распахнутые, полные юного провинциального наива. Ее, как она впоследствии рассказывала, в купальнике и даже «ню» подбивали сниматься — однако времена были жестче нравом, чем сейчас, за изготовление «порнухи» (а фотка «без верха» запросто подпадала под категорию порно) можно было и за решетку угодить, поэтому Валентина моя Дмитриевна на подобные предложения не велась. В картонной папке с тесемками, посвященной ее молодости, среди отпечатков на фотобумаге сохранились две пожелтевшие вырезки — из газет «Советская промышленность» и почему-то «Воздушный транспорт». На обеих — изображение улыбающейся мамы, одна карточка — под рубрикой «Фотоэюд. Молодость», вторая — «Юное поколение Страны Советов».

Но столичные журналисты любовались мамочкиной блистательной внешностью недаром. Она и сама

оказалась не промах по части обустройства собственной жизни. Ее (как тогда называлось — *по благу*) пристроили учетчицей в отдел писем газеты «Советская промышленность». Во времена СССР (как она мне рассказывала) газеты уделяли постоянное и неусыпное внимание письмам трудящихся. Любое послание — графоманский бред, анонимный навет, слезная жалоба, малограмотный кроссворд, восторженный отклик, — присылаемое гражданами Страны Советов в адрес любого издания, регистрировалось в амбарных книгах, а затем передавалось конкретному сотруднику редакции для содержательного ответа или дальнейшей пересылки в адрес советских, партийных, профсоюзных и комсомольских инстанций. Требовалось ни одно письмо ни в коем случае не потерять и на каждое ответить, да в срок и со всею положенной вежливостью.

О том, насколько важны были для тогдашних СМИ читательские послания, свидетельствует одна из баек, рассказанных матерью. В газете «Советская промышленность», где она служила, проводили ленинский коммунистический субботник. Фактически это означало генеральную уборку помещений — с мытьем окон и выкидыванием из столов и шкафов ненужного барахла. Мусор и старые рукописи обычно складывали в крафт-мешки и впоследствии вывозили на свалку. Пикантность ситуации состояла в том, что письма читателей, приходившие в газету, обычно привозили с почты в точно таких же мешках. (Кстати, именно такими дозами — мешками каждодневно! — исчислялась в ту пору читательская корреспонденция.) И вот, под сурдинку, вместе с барахлом, во время субботника из отдела писем «Советской промышленности» выкинули два мешка с еще не распечатанными читательскими эпистолами!

Редактор отдела писем — облезлый сладкогубый Борис Исидорыч Костышевский — чуть с ума

не сошел от ужаса и горя. Потерять два мешка читательской корреспонденции! За такое можно было за просто партийный билет на стол положить и тепленького редакторского места лишиться! Борис Исидорыч немедленно схватил такси и бросился на свалку. Там он принялся щедро раздавать направо-налево мелкие купюры, и местные работяги к концу дня отыскали пропажу. И заверили, что ни одного письмишка не пропало! В редакцию Борис Исидорович вернулся пьяноватый и торжествующий, с мешками в обнимку — даже в багажник таксомотора положить их не решился, ехал вместе с ними на заднем сиденье.

Костышевский царил в своем отделе писем среди юных учетчиц — низшей редакционной касты с окладом девяносто рублей. Девушки занимались всей рутинной, начиная от распечатывания конвертов, регистрации писем в амбарных книгах, первичного прочтения и *рописи* (то есть распределения) по отделам редакции. Учетчицами служили, как правило, непоступившие абитуриентки или студентки-вечерницы журфака. Было их не менее пяти в самой завалающей отраслевой газетенке, и они сильно оживляли хмурый журналистский пейзаж, являлись костяком местных комсомольских организаций и немало скрашивали производственный процесс заматерелым дядям-корреспондентам. Учетчицы бывали, как правило (если судить по моей маме), прехорошенькие, а ежели нет, то хотя бы молодые. Поэтому киты и асы журналистики в обмен — кто на поцелуй, кто на бутылку, а кто и на *отношения* — учили юных коллег уму-разуму. И девчонки перелопачивали письма рабкоров с периферии («Первые тонны продукции выдала саратовская обойная фабрика к юбилею Октября») и учились писать собственные «информашки».

Мамаша моя Валентина Спесивцева с азартом включилась в жизнь редакции. Вскоре и деньжата

у нее появились, и комнату в коммуналке, в самом центре Москвы, на улице Кирова¹, она приспособилась снимать. Вдобавок за год у нее накопился портфель заверенных ответсекон публикаций, предъявив которые маманя благополучно поступила на журналистику на вечерку.

Дальнейшая ее столичная жизнь впредсовалась в аршинный альбом вырезок из газет — именно так в прошлые, бескомпьютерные времена вели журналисты личные архивы. Я пару раз перелистывала альбомище — порыжелые от времени и клея страницы. Заметки матери постепенно становились все больше, все крупнее делались заголовки. А стиль статей не менялся, оставался в рамках дозволенного: «...В речи генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на заседании Политбюро ЦК КПСС... Тысячу рублей перечислила в Фонд мира бригада мебельщиков... Декадником работа молодых по укреплению берегов малых рек, конечно, не ограничивается...»

Однако мамочка моя была совсем не бесталанна, потому прорывались в ее статьях и ирония, и сарказм, и гнев:

«В проходной пропуска у меня никто не спросил. Впрочем, обычное требование прозвучало бы в данном случае насмешкой, потому как в двадцати метрах в бетонном заборе — дыра, в которую не то что человек пройдет, грузовик проедет...

...У хозяйственного магазина чернела очередь, и продавщица в синем халате поверх телогрейки выкрикивала: Эй, крайние! Не занимайте! Туалетка кончается!..»

...С этой столовой у меня были личные счета. Два года назад, будучи на М-ском комбинате, я рискнула в ней пообедать. А теперь...»

¹ Теперь Мясницкая.